

ПОХИЩЕННЫЙ ДОКУМЕНТ

Многоуважаемый господин редактор!

Столь неожиданная и прискорбная для всех нас кончина тайного советника Глюмкова, служившего докладчиком в министерстве внутренних дел, до сих пор дает пищу всевозможным толкам. Мы, разумеется, понимаем, что несколько странное поведение покойного в последние дни его жизни не могло не посеять подозрений в широкой публике, которая усматривала в этом связь со столь нашумевшим тогда случаем пропажи в министерстве секретного документа. Между тем, как Вам известно, истинный виновник преступления найден, причем это вовсе не то лицо, невольным пособником которого, в силу прискорбного заблуждения, считал себя наш родственник. Но, как говорится: «Semper aliquid haeret». Было бы болото, а черти будут.

Желая очистить память господина Глюмкова, этого во всех отношениях безупречного чиновника, от незаслуженных подозрений, мы, его близкие, почли за должное передать Вам для обнародования его дневник, позволяющий судить о подлинном отношении господина Глюмкова к этому делу.

Мы охотно предоставляем Вам право изменить по вашему усмотрению упомянутые в дневнике имена, если появление их в печати покажется вам неудобным.

От имени семейства тайного советника Глюмкова
примите уверения в совершеннейшем почтении

Ваш покорнейший слуга

Альберт Глюмков,
преподаватель гимназии.

Четверг, 2

На сей-то раз я действительно обойден. Несмотря на то что новый законопроект о крамоле разработан главным образом при моем участии, честь защищать его в рейхстаге в качестве заместителя министра предоставлена не мне, а тайному советнику фон Эвальду. Что касается самого законопроекта, то я нисколько не сомневаюсь, что, как бы мы ни обрабатывали общественное мнение, он и на этот раз осужден на провал. У этих красных завелось слишком много тайных единомышленников в рейхстаге.

Наш законопроект восстановит против себя всё и всех, кто хоть в какой-то мере настроен «социально». Так что защищать его — самое неблагоприятное дело. Но зато у начальства ты на виду. Чем безнадежнее дело, которое ты отстаиваешь, тем очевиднее твоя преданность. Как бы то ни было, это для меня тяжелое оскорбление, после которого только и остается что уйти в отставку. Но это невозможно, и по весьма простой причине — трудно даже вообразить, как приняла бы такое известие моя драгоценная супруга. Не лучше ли попытаться подложить свинью Эвальду? Ведь в сущности он совершеннейший нуль и импонирует его превосходительству только своей представительной внешностью.

На ближайшем заседании совета министров в законопроект будут вноситься поправки, его придется редактировать. Под каким-нибудь благовидным предлогом я предоставлю Эвальда самому себе, и, разумеется, он спасует.

Суббота, 4

Опять похищен секретный документ. В министерстве творится что-то невообразимое. Я так и вижу этого беднягу Бруммера, директора канцелярии, как он трясется

под взглядом министра. Его превосходительство господин министр, всегда столь добродушный, был на этот раз просто неузнаваем. Да и то сказать, шутки плохи, когда даже потайные карманы наших портфелей уже не могут считаться в безопасности от пособников красных. Тогда уж лучше попросту слить канцелярии министерства с редакцией «Форвертса», это по крайней мере существенно облегчило бы наш бюджет.

Как охотно сбежал бы я от тягостной сцены между его превосходительством и Бруммером! Но попробуй сбеги, когда вокруг, словно на каком-то страшном смотре, выстроилось десятка два чиновников. Я все еще никак не приду в себя от этого зрелища! Бедняге Бруммеру обеспечены тихие радости отставки. И, как знать, не благоразумнее ли, вернее сказать — не дальновиднее ли было бы теперь же последовать его примеру, чем дожидаться подобного же предлога, который может представиться со дня на день. Но нет! Впереди совет министров; он не дешево обойдется Эвальду. И тогда посмотрим.

Среда, 8

Скверно. Все эти дни после истории с Бруммером я не могу оправиться от лихорадочного возбуждения, меня все время томит предчувствие беды. Что за вздор! Словно и без того мало неприятностей. Да и Бессгард меня смущает. Всякий раз, как выслушиваю его донесения, я делаюсь сам не свой. Этот человек вынес из своих прежних занятий — он, кажется, был биржевым маклером и распространял ваксу какой-то марки — простодушную уверенность в том, что товар у него самый добротный. Он служит у нас агентом-провокатором, а держится, как старый честный матрос. Стоит послушать, как он потешно сокрушается по случаю предательства какого-нибудь завербованного им для нас провокатора из числа красных: тот, видите ли, чуть не выдал его так называемым «товарищам» — едва-едва удалось его обезвредить.

Вечно он рассказывает истории, уместные разве лишь в полицейском участке, а отнюдь не в наших ка-

бишетах. При этом он еще кричит во весь голос. Ну, как тут быть! Из моего кабинета его крик был бы слышен в приемной. Пришлось перейти в кабинет Эвальда (он куда-то уехал), где можно говорить вполне свободно. Однако сидеть с Бессгардом наедине — тоже дело не из приятных. С таким человеком легко себя скомпрометировать. В самом деле, субъект, который рад выдавать нам этих «товарищей», разве не способен поступить наоборот и выдать нас тем же «товарищам»? Ибо в наше время нет такого человека, который был бы вне всяких подозрений, за исключением, разумеется, его превосходительства, занимающего слишком высокий пост, а поэтому приходится соблюдать крайнюю осторожность. К тому же у этого субъекта препротивная манера подмигивать вам во время беседы, будто вы его сообщник в каком-то грязном деле.

К счастью, завтра он уезжает в провинцию, в длительную командировку для подготовки общественного мнения в пользу наших планов. Хоть немного отдохнуть от него!

Суббота, 11

Плохо мое дело. Эвальду повезло, как, впрочем, везет всем этим представительным олухам. Он избежал-таки скандала. Законопроект был принят на совете министров без всяких поправок. А когда сегодня я сделал попытку, очень осторожно и без надежды на успех, зондировать почву, его превосходительство весьма недвусмысленно заметил: «Милейший Глюмков, вы слишком честолюбивы. В известной мере каждый из нас должен быть честолюбив, но вы... вы слишком честолюбивы». При последних словах он многозначительно прищурился и несколько раз покачался на носках, словно всем видом желая сказать: «Вы слишком назойливы». Впрочем, как уже замечено, я ничего другого и не ожидал. Эвальд прочно сидит в седле. У его превосходительства есть свои слабости, а у Эвальда жена красавица... Однако я неосторожен. Уже больше недели меня все время слегка лихорадит.

Вот она беда, которую я все время ждал. Говорите после этого, что предчувствий не существует! Я не нахожу слов, чтобы передать весь ужас моего положения. При одном лишь упоминании о том, как Хайдштеттен подлетел ко мне с «Форвертсом» в руках, мне становится дурно. Не прочтя еще ни слова, я уже понял все. Это мог быть лишь он — опаснейший из документов, какие только имеются в наших стенах. В нем собраны все сведения, доставляемые в полицей-президиум различными агентами, которые никогда друг друга и в глаза не видали. В нем содержится также полный список всех наших «анархистов» с указанием того, кто сколько получает, и названы размеры субсидий, выплачиваемых министерством различным листкам, которые нападают на старого деспота «Форвертса», так сказать, в его же собственном лагере. Словом, это своего рода парад всех темных сил, выставленных нами против красных. Документ включает в себе также детально разработанный план подготовляемого нами путча на Линиенштрассе, который должен придать убедительность новому законопроекту. Так что теперь новый закон можно считать похороненным. Министру нанесен удар, от которого он вряд ли оправится к открытию рейхстага. Он уже не беснуется, как в прошлый раз, — по сравнению с тем, что случилось сейчас, это была детская игра, — а ходит позеленевший, с поджатыми губами, глядя на каждого чиновника, как на своего личного врага. По всему министерству, сдается мне, так и несет мертвечиной.

В тот же день, позднее

Оказывается, все уже давно известно, а я только сейчас узнал об этом! Документ, который найден в целости и сохранности на своем месте — вор проявил себя ловким фотографом, — хранился до похищения в кабинете Эвальда. Министр до последней минуты пытался спасти своего любимца, чем и объясняется запо-

здавая огласка. Эвальд теперь погибший человек; он навеки и безнадежно повержен в прах. Но значит ли это, что я могу торжествовать победу! Ведь если злосчастный документ напечатан сегодня, следовательно, хищение совершено по крайней мере позавчера, то есть в отсутствие Эвальда. А я... я провел на днях целых полчаса в его проклятом кабинете! Да еще наедине с Бессгардом. Правда, мы вошли из коридора, и нас вряд ли кто заметил. А что, если все-таки заметили? У каждого человека найдутся враги, которые не упустят случая сделать ему пакость.

Еще позднее

Я так расстроен, что не мог продолжать. А сейчас просмотрел написанное и понял: все это вздор. Ну кому в самом деле придет в голову заподозрить меня, тайного советника Глюмкова, в сообщничестве с этой сворой, с заклятыми врагами церкви и трона, с врагами нашего государства и общества! Да во всем министерстве не найдется человека более безупречного в исполнении своих обязанностей, не говоря уже о моих заслугах. Только теперь, в свете последних событий, я окончательно понял, как правильна раз навсегда занятая мною позиция: никаких «течений» и «социальных веяний», ставших ныне модной болезнью, никаких колебаний ни вправо, ни влево. Нет! Что касается меня, то я всегда дожидался указаний свыше и никогда не льстил на приманки того предосудительного тщеславия, которое громко именуется «мыслящей личностью» и только компрометирует вас в глазах начальства в качестве неблагонадежного элемента. Как чиновник, я действительно честолюбив, как человек — ни на йоту. Каждого, кто вздумал бы заподозрить меня в чем-нибудь подобном, сочли бы за безумца. А впрочем... откуда эта самоуверенность? Говорят, сам министр сказал, что он теперь не верит даже себе самому. Так смею ли я верить себе?

Ах! К чему все эти бесполезные вопросы!

Опять придется глотать хинин. По вечерам у меня заметно повышается температура.

Вторник, 14

Ужасный сон. Я проснулся в холодном поту. Я снова пережил этой ночью всю сцену в кабинете Эвальда. Бессгард опять рассказывал мне о своих проделках с таким видом, словно он вот-вот похлопает меня по плечу. И то и дело подмигивал, будто скрепляя этим наш с ним союз. Потом я достал и отдал ему тот документ, место хранения которого мне сейчас точно известно. Было ли оно мне известно вчера? Не знаю. Но сегодня, как я уже сказал, оно мне известно, и тогда, я уверен, тоже было известно... Однако ж я говорю все это так, словно бы во сне повторилось происшедшее со мной в действительности.

Вечером, того же дня

Я весь день не выходил из дому, и хорошо сделал. У меня была такая слабость и я чувствовал себя таким разбитым, что не мог ни двигаться, ни соображать. Так что отдых был полным. Очевидно, сегодня наступил кризис недомогания, овладевшего мной после этой прискорбной истории с документом.

Среда, 15

Во всяком случае, кризис миновал. Я как следует выспался, голова совершенно свежая, и я уже несколько не сомневаюсь, что этот мой так называемый сон был и не сном вовсе, а ясным воспоминанием о действительно происшедшем со мной случае. Итак: документ похитил я. И я не вижу в этом ничего удивительного. В самом деле, разве я не был живейшим образом заинтересован в провале фон Эвальда? К чему скрывать? Честолюбие в конце концов не такой уж низменный мотив. Причем мысль о похищении, должно быть, зародилась у меня давно; вероятно, мне внушили ее многие ранее известные случаи пропажи документов. Но почему же я забыл, как все происходило? Возможно, я был тогда слишком возбужден, а может быть, действовал в состоянии самовнушения! Но если так,

значит случай этот относится к области медицины и не мне в нем разбираться... Странно, конечно, что я с такой легкостью обхожу важнейший вопрос о моей вине. Но ведь тут самое главное, как говорится, спрятать концы в воду. Раз я поставлен перед совершившимся фактом, то надо сделать все соответствующие выводы. Надо соблюдать осторожность и видимость спокойствия. У меня нет никаких оснований терять голову. Ведь, кроме меня и Бессгарда, никто не знает ничего определенного. Заподозрить меня в краже документа было бы равносильно тягчайшему оскорблению. А кому, спрашивается, это нужно? Мой долг — спасти честь своего старопрусского чиновничьего рода, которая пребудет веками незапятнанной. Да и жена—воображаю, как отнеслась бы она к вести о том, что ее муж, тайный советник Глюмков, совершил кражу. Какой вздор! А правительство? Ведь оно кровно заинтересовано в том, чтобы случай с документом не получил огласки или чтобы по крайней мере похитителем не оказался кто-либо из высокопоставленных лиц. Это только довершило бы скандал. И как человек и как чиновник, я обязан действовать сообразно своему долгу.

Вечером, того же дня

Сегодня министр так на меня смотрел, что я окончательно потерял голову. В глазах его было столько холодной настороженности! Больше, пожалуй, чем у меня самого. Неужели он что-то знает! Вздор! Да чего же, собственно, мне его бояться? Разве только в предвидении своего близкого конца он замышляет из мести правительственный переворот... А может быть, он хочет оказать последнюю услугу госпоже фон Эвальд и, чтобы спасти ее мужа, задумал оклеветать меня? Жалею, что не пошел вчера в министерство. Там, видно, возникла за это время какая-то новая версия. Но при моей боязни расспрашивать я ничего не могу узнать. Да, сохранить эту страшную тайну будет гораздо труднее, чем я предполагал. Тем более что я не привык лицемерить и за всю жизнь ни разу не позволил себе и мысли, которую не мог бы тут же, открыто высказать

высшему начальству. Это непривычное состояние ужасно на меня действует, и у меня снова поднялась температура.

Четверг, 16 днем

Скверная ночь! Когда я проснулся, у меня было ощущение, будто я во сне громко спорил с Бесгардом. Несмотря на страшную слабость, я все же пошел в министерство; меня непрестанно терзает мысль, что там в мое отсутствие идут всякие толки на эту тему. Но, опасаясь выдать себя, я очень скоро ушел. Кое о чем они уже догадываются, это бесспорно: повсюду при моем появлении начиналось шушуканье и до меня явственно доносилось мое имя, произнесенное громким шепотом. Гайдштеттен тоже, конечно, слышал. С ним все очень сдержанны, потому что он считается моим другом. Когда я спросил, чего, собственно, им от меня надо, он как будто не понял. В другой же раз сказал: «Помните, мы говорили о галлюцинациях. Поверите ли, даже со мной было нечто подобное, и не далее как этой ночью. Да ничего удивительного! После всех этих треволнений с самым здоровым человеком может случиться. Нервы совсем развинтились. Подумать только, что нам придется переживать!..»

Он как-то особенно подчеркнул слово «нам» и пристально посмотрел на меня.

Министр не показывается. А может быть, наоборот, я сам избегаю встреч с ним.

Вечером того же дня

Дела мои обстоят много хуже, чем я думал. Жена что-то подозревает. За обедом она была очень молчалива и в то же время все пыталась заставить меня разговаривать. Очевидно, недомогание кажется ей недостаточной причиной моей подавленности. А когда после обеда зашли знакомые, она поспешила под каким-то предлогом услать меня из гостиной. И как это я сразу не подумал, что перед ней я бессилён! Кто угодно, только не жена! От нее у меня не может быть тайн. Я привык ей рассказывать все, о чем бы она ни спросила, и твердо знаю, что, рано или поздно, может быть

через неделю, а может быть, даже завтра, я все равно ей проговорюсь. И после этого продолжать, как ни в чем не бывало, совместную жизнь? Нет. Это невозможно! Она не должна знать ничего определенного. Да, положение невыносимое. Значит, я должен куда-то деться, должен... трудно выговорить... я должен убраться из жизни.

В этот же день, позднее

Мысль о смерти явилась так внезапно, что при всей безысходности моего положения я никак не могу освоиться с ней. Я целый час расхаживал из угла в угол, и, чувствую, лихорадка усиливается. Этого еще не хватало! Ведь сколько нужно сил, чтобы держать себя в руках и хранить в душе страшную тайну, а тут вдруг найдет на тебя такое, что ты, сам того не зная, одним каким-нибудь словом снимешь себе голову с плеч. Мы, то есть Гайдштеттен, Шельский и я, помнится, часто рассказывали друг другу такие случаи за бутылкой вина. Гайдштеттен уверял, будто скандал между полковником фон Капманом и ассессором Гольбеном был вызван болезнью фрау Капман. Она будто бы проговорилась в бреду о своей связи с Гольбеном. А Шельский, у которого есть знакомые среди биржевиков, рассказал об одной крупнейшей за последнее время биржевой операции советника коммерции Бертгейма. Оказывается, любовница Бертгейма, фрау фон Панкус, выдала ему тайну своего мужа, сорвавшемуся у него с языка в бреду.

Над такими историями хорошо смеяться, сидя у Гута за бутылкой красного вина. Но теперь они внушают мне ужас. Я весь дрожу от невероятного напряжения и в то же время так ослаб, что не чувствую под собой ног. Если б я поднялся сейчас со стула, то непременно упал бы. Я серьезно заболеваю и, значит, попаду в руки посторонних людей — врача, санитаря — и все им выболтаю. Нет, нет! Страшно подумать! Вся моя честь, вся гордость и чувство долга восстают против этого. А фамильные традиции! Пять поколений добропорядочных чиновников, — я знаю, чем я им обязан и чем

обязан своей жене. Мертвого меня пощадят, и она получит пенсию. Да и правительству меньше позора. Установив имя виновника и удовлетворившись тем, что его уже нет в живых, оно избегнет публичного скандала. Таким образом, я во всех отношениях исполню свой долг честного человека и гражданина. И не надо себя обманывать. Обманывать себя, конечно, свойственно людям, но человеку, перед которым лежит на столе заряженный револьвер, это уже ни к чему. Я знаю, жизнь утратила для меня отныне всю свою прелесть. Только что, вспоминая наши дружеские беседы втроем за бутылкой вина, я понял, что прошлого не вернуть. Теперь я никому больше не верю. Для меня навсегда утрачены скромные радости, которые так скрашивают нашу жизнь. А следовательно, то, что я намерен сделать, я сделаю столько же и ради самого себя.

Еще позднее

Но ведь могу же я немного повременить с этим. Температура после моей исповеди как будто упала. Хоть бы Бессгард вернулся из Бреславля! Я узнал бы по крайней мере, все ли меры он принял, чтобы никто ничего не проведал. Но он приедет только 22-го, а до тех пор я могу проболтаться и все погубить.

Пятница, 17

Итак, решено. Когда я сегодня проснулся — было уже не рано, так что жена и прислуга, наверное, слышали, — в ушах у меня еще отдавался мой собственный крик.

«Документ украл я!» — кричал я насмешливо ухмылявшимся людям, среди которых были Эвальд, его превосходительство, Гайдштеттен и Бессгард. Видно, не остается ничего иного, как бежать от самого себя.

Не уничтожить ли эти записки? Нет, лучше уберу их в такое место, где их найдет только жена. И хотя я уверен, они не откроют ей ничего нового, все же моя чистосердечная исповедь убедит ее, что я поступил как должно, и ей будет не так горько вспоминать обо мне.